

следил за работою личности и из мириады несходных однородных звуков отбирал тот, который всего чище выражал родовое *среднее* данного восприятия, звук наименее личный, наиболее общечеловеческий, понятный наибольшему числу людей; и этот звук он временно узаконял. Дальше личное творчество продолжалось уже в пределах узаконенного звука; и снова социальный инстинкт отбирал из массы личных видоизменений форму еще более общую и узаконял ее временно. Каждый временно-узаконенный звук расцветал бесчисленными индивидуальными цветами, и непрерывно совершался социальный отбор, узаконявший наиболее бесцветную и безуханную форму, пока наконец буйное цветение личности в звуке, чрез ряд закрепленных, все более общих форм, порождало чистую и полную форму родового звука, которую социальный инстинкт и закреплял уже окончательно. Так путем медленного отбора были найдены те непреложные звуки, которые суть корни наших слов, вернее — корни словесных семейств. Корень воплощает в звуке лишь те элементы, которые составляют неизменное ядро данного восприятия у всех здоровых людей определенной группы помимо их индивидуальных различий и при всех переменах в их душевном состоянии. Корень *ста* — был дознан выражающим восприятие становления, корень *да* — восприятие давания, безотносительно к тому, что становится или дается и кто и в каком настроении воспринимает становление или давание. Поэтому отличительные признаки корня — абсолютная полнота и крайняя сгущенность; корень — точно крепчайший и чистейший экстракт данного восприятия в звуке. Однократные страстные личные переживания в несметном множестве на протяжении тысячелетий, подобно пчелам, сгущали мед в ячейках звука, и вот очищенный и сгущенный звук затвердел в корень. Отныне личность поработана корню; корень имеет над нею двойную, страшную власть, во-первых, внутренней принудительности, потому что личность сама в себе содержит род, как свою идеальную норму, во-вторых, социальной необходимости, потому что личность может сообщать свое восприятие другим людям только посредством корня, который один, именно в силу своей родовой природы, понятен всем. Точно так же, как корень, позднее выработались флексии для воплощения в звуке немногих закономерных изменений, какие претерпевает родовое восприятие.

II

Звук, услышанный мною, слышали и другие, внезапный выстрел испугал всех и та же мысль родилась у многих. Значит, механизм духа в других людях и во мне тождествен. Между тем всякое мое восприятие — как бы бесплотное существо, созданное по моему образу и подобию. Мое настроение этой минуты единственно в мире, моя мысль, мое желание и решение — только мои, однократные и летучие воплощения моей беспримерной личности. Итак, весь мой состав двуприроден, я сразу — и экземпляр рода, и личность, и всякое мое движение, внешнее и внутреннее, определяется двумя законами — общим и личным.

Человек, без сомнения, раньше сознал свою тождественность с другими людьми, нежели свое личное своеобразие между всеми, и первые же искры этого сознания были зародышем общечеловечия. Совместная жизнь и сотрудничество возможны для людей только в силу однородности их восприятий и реакций; поэтому выгоды общечеловечия, конечно, рано научили людей ценить свое родовое сходство и общей волею узаконять его в каждом отдельном. Каждый искал в своем ближнем не личную его особенность, а родовое ядро, и все вместе внушали каждому, что его переживание законно и истинно лишь постольку, поскольку оно тождественно со сходными переживаниями других людей. Социальный опыт безотчетно, но не менее искусно, испол-

нял ту самую работу, которую теперь сознательно исполняет наука: определял совокупность родовых признаков в многообразии сходных явлений. Добытое таким образом знание должно было тотчас включаться в общественный фонд, как и теперь всякое открытие точных наук немедленно включается в фонд техники. С этой целью найденное родовое содержание сходных личных переживаний постепенно облекалось в прочные формы, которые и становились техническими орудиями общежития. Таких форм было создано четыре: слово, идея (концепт), обычай и учреждение, — как бы закрытые сосуды, куда отлилась, и остыла, и затвердела наружной пленкою дознанная в опыте, но еще и непрерывно очищаемая родовая сущность индивидуальных восприятий и влечений.

Самый густой, самый проверенный и взвешенный в частях отстой родового заключен в слове, — чистейшая вытяжка человечности. Обычай не чист; ежеминутно проверяемый в индивидуальных опытах, он вечно очищает в себе родовое от личных примесей. Неустанно очищается и густеет идея, еще чаще меняется закон; одно слово готово, налито в звуки и закупорено на тысячелетия.

Когда девушка в страстном порыве хочет известить любимого о своей любви, она произносит не свое, но общее слово, — пять звуков, подобранных и спаянных за тысячи лет до нее. То пращур, живущий в ней, не дает ей сказать собственным словом: он сторожит и произносит ее устами свое процеженное, выверенное, безличное слово «люблю». Уже Риг-Веде привычен глагол *lubhyati* в значении страстно желать, откуда и *lubhdas* — жадный; арийские племена, расселяясь, унесли с общей родины, среди прочего скарба, в числе других нужнейших корней, как *ста* и *да*, и корень *lubh*, — и он всюду принялся на новых местах; у римлян *lubido*, *libido* удержало древний смысл страстного желания, у германцев корень жив в словах *Liebe* *Lob*, *Glaube*, *Gelübde*, *erlauben*, а в славянских наречиях он расцвел и размножился обильнее, чем где-либо. — Когда минуту спустя та же девушка прошепчет «милый!» — это пращур подсказал ей древнее слово, индоевропейское *mele* — растирать, смягчать, откуда санскритское *mā*, делаться мягким, греческое *malakós*, мягкий, латинские *molo*, *mollis*, *mulien*, немецкое *Mehl*, *mahlen*, *Milbe*, наши молоть, мельник, мелкий, моль, молитва и милый. И какое бы слово она ни произнесла, все ее слова — общие и чужие. От начала Руси существуют слова «люблю» и «милый», миллионы людей произносили их и несчетные уста будут повторять их еще тысячелетия. Какое бы беспримерное чувство ни совершалось внутри человека, ему не сказаться личным словом, потому что личных слов нет и не может быть. Во тьме времен двойным гением личного творчества и социального отбора были созданы 600 или 700 несокрушимых как сталь, и вместе неистощимо-плодовитых корней; их разноликим потомством населены все языки арийской расы, и других слов нет.

Если бы девушка умела слышать свой внутренний голос, как бы возмутилась она против тирании слов, и как бы плакала тайно! «Люблю» и «милый» — не то, не то! Я — особенная, и моя любовь — беспримерная в мире. Что мне до того, что сходное чувство переживали и другие! Моего чувства никто не переживал и не мог выразить. Дай мне полно и точно выразить мое чувство моим словом, чтобы я сама могла увидеть его в воплощении звука и чтобы любимый узнал именно мою любовь!» И услышала бы голос пращура, живущего в ней: «Как раз потому, что твое чувство в своей полноте беспримерно, другой человек его не узнает; вырази твою любовь полным и точным звуком, — любимому тобою прозвучит непонятный крик. Есть в чувстве ядро, общее всем людям; долгим опытом я вылушил его из необозримого множества сходных личных переживаний и облек в слово. Знай же: ты должна забыть о себе, когда говоришь другому; возвестить другому ты можешь только наличность в тебе ядра любви, но не больше».

Итак, готовое слово, как оно дано отдельному человеку в языке народа, принадлежит не к сфере бытия, но к сфере действия, ибо оно для личности — только орудие: орудие ее общения с другими. Оттого, по общему закону орудийности, слово наполнено исключительно родовым содержанием; чем оно безличнее, чем отвлеченнее, тем выше его орудийная ценность. Даром речи одарен в человеке лишь род, личность же обречена навеки оставаться немой; или иначе, бытие вовеки невыразимо, и только движение членораздельно звучит. Слово есть связующая нить рода, один из органов его существенно-го единства, подобно кровеносной системе в организме. В то время, как родовое ядро чувства, исходя словом наружу, отдает свою энергию миру, невыявленные личные элементы чувства остаются в личности и совершают ее внутреннее питание. Всякое словесное изъятие чувства, вследствие своей неполноты, ощущается личностью как ложь.

Природа слова предопределена законом познания. Личность способна познавать только другую личность, — но это знание по своей полноте не может, и по своей социальной ненужности не должно быть выражено. Поэтому личность нема, ничто индивидуальное не именуется. Говорит же род, и говорит о родовом, которое он одно способен познавать. Итак, в слове осуществлена полная соотносительность субъекта и объекта: род в человеке есть субъект речи, — тот, кто говорит, — и род в вещи есть объект речи, — то, о чем говорится. Эта полная внутренняя адекватность слова и сделала его совершеннейшим из технических орудий человека.

III

Личность — в отдельном замкнутом образе на миг воплощенная целость бытия, на один раз временно созданная неповторимая архитектоника его полного строя и неустанного гармонического движения. Личность целостно воспринимает личность в явлении и потому социально молчит, ибо как описать тайну мировых тайн? Но каждое представшее явление — неповторимый образ единого бытия; личный демон вещи не имеет подобия в мире. И вот, в представшем явлении блеснет пред личностью, как молния во мраке ночи, лицо личного демона *этой* вещи, не похожее ни на какое другое лицо, все освещенное и ужасное нестерпимой подвижностью кишящих огней; и личность, мгновенно ослепнув, зажмурив глаза, издает крик, исторгнутый ужасом познания. Этот крик выражает полноту восприятия.

Единичный беспримерный демон одной личности в мгновенном прорыве тьмы созерцает единичного беспримерного демона другой личности: вот что есть восприятие. Поэтому восприятие вдвойне своеобразно — своеобразием воспринимающей и другим своеобразием — воспринимаемой личности. Одна ипостась мира созерцает другую или, иначе, личность созерцает в вещи другой аспект самой себя; воспринимаемая, она говорит себе: я есмь в это мгновение не я, какую я знала себя до сих пор, и все же — я; значит, я многовидна и все же едина. Это познание каждый раз снова поражает личность ужасом, потом радуется успокоением и наконец восторгается чувством обогащения; так малейшее восприятие обуревают дух тройным волнением, которое еще отчетливо видно в дикаре, созерцающем незнакомую вещь. *Это* восприятие *этой* личности есть однажды в мире разыгравшаяся драма, неповторимая даже в той же самой душе, как две влюбленности одного человека, и не более сходная с подобной же драмой другой души, нежели влюбленности двух человек. Крик, вырвавшийся из груди, есть вовесть о неповторимом событии; личность самой себе дает отчет, как сверкнуло пред нею лицо нового демона, как она ужаснулась, как постепенно начала узнавать в нем свой собственный образ, и как наконец совсем опознала в нем себя. Роду эти неповторимые подробности не нужны, он пропускает их мимо ушей.

В потрясенном рассказе он уловляет только одно формальное показание, попутно оброненное личностью, для нее вовсе не важное: показание о том, при встрече с какою вещью разразилась в ней та драма. Получив это важное сведение, род как бы открывает свою книгу логарифмов и рассчитывает: данная вещь относится к такому-то роду вещей, а каждому роду вещей соответствует в психике данного рода существ такой-то тип переживаний или динамитных взрывов самопознания. В том крике личность назвала род взрывчатого вещества, взорвавшего ее; тем самым определился тип происшедшего в ней взрыва, тип тождественный для всего рода существ, к которому принадлежит эта личность. И вот в сложнейшем содержании крика родовой инстинкт подбирает тот рассеянный по всему повествованию состав звуковых знаков, по тону, высоте, силе и тембру, который обозначает именно этот тип родовых взрывов, и обрабатывает его в слово; и долго еще проверяет и соответственно перестраивает слово, пока не станет слово точным и полным родовым словом *aere peregnnius*. И род бегло переговаривается внутри себя пустыми словами, тогда как личность воспринимает в слове только жест глухонемого: «смотри туда! там демон, и особенный!» — и смотрит по направлению жеста, и видит там как бы за туманной завесой демона, представшего без завесы тому, кто сделал жест. И так как в самом деле демоны вещей, то есть лики духа, все тождественны в человеческом роде и распределены по родам, видам, подвидам, то туманный облик демона вызывает в нем взрыв, однородный взрыву, о котором повествовал жест пострадавшего. Но подобно тому, как искра из паровоза, попав в стог соломы, воспламеняет его совершенно иным огнем, и один горящий стог отличен от другого беспримерным и сложнейшим составом своих горючих свойств в каждой молекуле каждой соломинки и совокупно в целом стоге, по его величине, кладке, плотности, подветренности и пр., так что каждый стог сгорает индивидуально, — точно так во внемлющем драма познания разыгрывается совершенно иначе, нежели в изрекшем слово. Так было в дни, когда рождалось слово; теперь и в видящем — говорящем, и в слушателе их душевные драмы разыгрываются едва заметно для них самих, подобно движению теней на белой стене при свете месяца. Но как бы слабо ни было горение, — слово «стул», произнесенное другим, есть только искра, зажигающая меня — беспримерный стог соломы, и я сгораю беспримерно, индивидуально.

В слове уцелел для личности только жест, тот первоначальный жест глухонемого, зерно, из которого род взрастил плод — слово. Звуковой жест в слове — как семя в плоде. Семя — сущность, а греющую и укрывающую его мякоть плода точит червь, клюют птицы, ест человек. Им только мякоть и нужна; так готовое слово нужно роду, природе же нужно семя и личности — жест в слове. Но жизнь — только в семени, мякоть же — прах и добыча тления.

IV

Итак, речь личности в слове — односложные, но богатые выразительностью междометия, — крики глухонемого; наоборот, речь рода членораздельна, сложна и бессодержательна. Ни та, ни другая не открывают запечатленной тайны; личность восклицает в испуге и тем привлекает внимание к напугавшей ее вещи, род именует род этой вещи, и только. Что есть вещь, неизрекаемо, ибо она в своей индивидуальности содержит весь строй и все движение бытия.

Слово нужно человеку для того, чтобы личность могла разряжаться и познавать себя в звуковом жесте слова, а род — непрерывно восстанавливать им свое распадающееся единство. В промежутках между словами род рассыпается на личности, и каждая личность страдает от внутреннего избытка и недоумения. Чуть вырвется из

личности звуковая искра — она мгновенно по невидимой нити зажигает все окрестные личности, — и род, как круг люстры, снова цел; погаснут огни, и род распался.

Но и род познает себя в слове. Весь опыт своего познания — родового познания вещей — он формулирует в слове; нужен был огромный ряд наблюдений, чтобы установить родовое тождество всех лошадей и уверенно выделить их в особенную группу существ, которую род и назвал лошадью. А каждый выделенный им род вещей — не что иное, как его собственный особенный аспект, один из бесчисленных ликов, которые являет себе целостному человеческий дух. Так род познает себя в родовых именовании слова; а растущее самосознание рода есть его прорастание в личностях, то есть действительное созидание родового единства.

Род познает себя кружками, гнездами родов, закрепленными в словах, личность — точками своих звуковых жестов. Каждым словом она бросает на экран одну точку и постепенно вычерчивает точками, как бы пунктиром, свой облик по мере своих восприятий, так что в бесчисленных звуковых жестах изреченных слов она получает вне себя свой частичный зеркальный образ, и в нем познает себя. Оттого слово, произнесенное человеком мысленно или вслух, например слово скорби или ликования, удваивает силу его чувства.

Еще другой услугой слово двояко служит личности, уже не как жест, а как слово. Если каждый отдельный звук языка, например, а, о, п, есть атом человеческой речи, тождественный для всех народов, то корень ста, — да, — люб — есть молекула естественной группы наречий, индоевропейской, а слово — ставить, давать, любить — есть клетка русского национального языка. И подобно тому, как в природе однородные атомы, их сложение в родовые молекулы и сложение молекул в видовые клетки предопределены особи, ей же самой присуща, как ее беспримерная особенность, только индивидуальная архитектоника клеток, так личная речь есть неповторимая в народе за все время его существования архитектоника национальных слов, то есть лична в языке только стиль речи. В стиле своей речи, в характере своего бессознательного подбора и расположения слов личность дополнительно познает себя, притом познает каждый раз снова целостно, а не по частям. Оттого многоговорящие люди сравнительно легко решаются, — потому что поверхностно *знают* себя. Стиль речи есть целостный образ личности, предносимый ею и оттого видный ей самой. Но он виден и другим. Он как бы существо особого рода, целостное явление, которое люди и воспринимают целостно. Личность поэта непосредственно воспринимается читателями только в стиле его речи; все другие восприятия его поэзии, причиняемые ее содержанием, образностью, идеями, архитектурой и пр., частичны и предопределены тем основным восприятием, целостным и потому — в отличие от этих — невыразимым. Так же действует речь оратора, преимущественно своим личным стилем, характер которого либо умаляет, либо волшебным удесятряет силу заключенных в ней доводов. И то же наблюдается в обыденной жизни; словесный стиль человека, вместе со стилем его движений и наружности, образует тот целостно-воспринимаемый облик, который в общезнании определяет его судьбу.

Печатается по изданию:

Гершензон М. Демоны глухонемые // Записки мечтателей. 1922. С. 127–135.